
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА, РЕЦЕНЗИИ

Материалы публикуются к 200-летию со дня рождения
В. Г. Белинского

Алексей Третьяков
(г. Тула)

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ КАК САМОВЫРАЖЕНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. ПРИМЕР ДОСТОЕВСКОГО

Лев Толстой полагал поиски идеала поиском основания истинной любви к людям.

«Истинная любовь всегда имеет в основе своей отречение о/г блага личности и возникающее от того благоволение ко всем людям. Только на этом общем благоволении может вырасти истинная любовь к известным людям — своим или чужим. И только такая любовь дает истинное благо жизни и разрешает кажущееся противоречие животного и разумного сознания» («О жизни»).

Вересаев писал, как поражало цивилизованных европейцев абсолютно антипатриотическое настроение русской интеллигенции в Русско-Японскую войну. И имело место то, что этот широкий космополитизм русской интеллигенции начала века в немалой степени сформировался под влиянием страстных проповедей-статей, проповедей-трактатов Льва Толстого о христианском единении, о пагубности патриотического одушевления, неизменно приводящих ко взаимному перегрызанию глоток обманурых в самом святом людей. Диалектически разумом все можно объяснить, но кто смог за тысячелетия цивилизации хоть на версту приблизиться к объяснению: почему даже ради высоченного, с вавилонскую башню, идеала человек стремится превзойти зверя? И вот высокоцивилизованные, бесконечно логичные и разумные, воспитанные европейцы снисходительно называют Толстого талантливый варваром, а под влиянием слов этого «варвара» русская интеллигенция сплошь заражается духом пацифизма и гуманитарного космополитизма вплоть до крайностей пораженчества. Так было во все века. И снова возвращается в прошедшем. Вечное возвращение — термин больного философа* — гуманнейшего из вопросов бытия: есть ли верный путь во вселенной любви к ближнему? Нашел ли последователей другой Лев Николаевич — князь Мышкин? А Дон-Кихот? А еще дальше, в глубине времен — Иисус Христос?

«...В эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком... когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерилось в эти мгновения, продолжавшиеся как молнии. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойство как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины» («Идиот»).

* Фр. Ницше.

Здоровый скептицизм житейско-бытового обихода, а впрочем, куда как много людей и мыслящих, но немного однобоко, не преминет засомневаться: а может только вот в таких больных поступках и мерещится всякая химера, все эти гуманологии? А услужливые жизнеописания шепчут жарко и пылко: да, да! Да, все эти пророки любви к ближнему, и; всепрощение, любовь — мир спасет, и старые и новые, — все они лишь больные-с люди-с: эпилептики Магомет, Достоевский, Ницше, ипохондрик Будда, да и сам Лев-то Николаевич грешным делом... пошалывал, вспомните Арзамас? Юродивый Христос, все эти неистовые ветхозаветные пророки: бредящий наяву Иезекииль, Даниил с его видением кошмара отрубленной пишущей руки. Поистине каждый из них постоянно согбенным ходил под своим «Мене такел упарсин», лишь в минуты падучей и освобождались от ужаса большого ума и воображения?

— «...Он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть и «высшего бытия», не что иное как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему» («Идиот»).

Ну и что из того, что патология? Может лишь в болезни человек не связан по рукам-ногам цепями «здорового смысла». А что есть ваш здравый смысл, вообще, может ли он быть здоровым, если миллионы, миллиарды здоровых умом и телом людей во славу этому здоровому смыслу в любую минуту могут уподобиться гадаринским свиньям и броситься в пропасть?

— «Что же в том что это болезнь? — решил он, наконец, — какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слияния с самим высшим синтезом жизни?» («Идиот»).

Но как бы там ни было, именно в «Идиоте» идеал положительного человека Достоевского оказался тем же идеалом Толстого: кротким, вселюбящим человеком с «царством Божиим внутри себя». И даже более того: если толстовский идеал делает акцент на нирваническое самоуглубление в совершенствование своего духа, которому подчинено смиренное тело, то князь Лев Мышкин — воплощенное человеколюбие с даром пророческим; здесь Достоевский, не мудрствуя долго, перенес Иисуса Христа (именно не Будду, созерцателя духа, отшельника, гуру — учителя избранных, созревших для восприятия учения — как у Толстого), проповедника любви в избранном народе (опять же акцент именно на избранном, не в космополисе, как у Толстого), проповедника всем и всея, — на, без небольшого, две тысячи лет вперед. Так облик Христа трансформируется в лик Мышкина.

Вересаев в первой части «Живой жизни» пишет о патологическом «неумении» художественного воплощения радостных, просто оптимистических сторон человеческой жизни в творчестве Достоевского:

«...И так везде у Достоевского. Живую тяжестью давят читателя его туманы, сумраки и морозящие дожди. Мрачная отъединенная тоска заполняет душу. И вместе с Достоевским начинаешь любить эту тоску какую-то особенную, болезненную любовью.

В душе художника вечная, беспросветная осень.

...Прямо удивительно, как тускнеет волшебник Достоевский, когда ему приходится описывать природу радостную и прекрасную.

...Лексикон Достоевского поразительно богат. Но при описании радующейся природы он как будто теряет собственные слова. Либо «волшебные панорамы» и «ласковые волны», либо еще... цитаты!

...Но только вступит Достоевский в область мрака, туманов и дождей, — и чуждый пришелец мгновенно превращается в державного владыку...»

По хрестоматийным утверждениям следует, что пейзажи в произведении суть конформный фон состояния души описываемых персонажей. Так вот, под стать пейзажам моросящего дождя, в серых тенях глухих дворов Петербурга Достоевского и печальные, несчастливые герои его. И, продолжая мысль Вересаева в «Живой жизни», скажем, что он великолепный мастер в создании героев патологической складки (В. Чиж издал в 1885 году книгу под названием: «Достоевский как психопатолог», где он, на основании личного опыта врача-психиатра, утверждает, что писатель был величайшим психопатологом). А патологический герой: маньяк, безумец, юродивый и пр., словом, личность в негативе, человек неуравновешенный, утративший контроль над собственной волей, вырождающийся,— такой герой и есть объект Достоевского. Поэтому постановка вопроса о «проблеме положительного героя» у Достоевского нетривиальна, вернее этот вопрос следовало бы в совсем другой терминологии выражать: патологическая личность не есть положительный герой, также она не может быть и отрицательным персонажем. Вдумайтесь: разве можно разранжить под марки положительных и отрицательных героев Дмитрия и Алексея Карамазовых, Раскольникова, Мышкина и, чтобы не перечислять,— особенно многих персонажей «Идиота»? Исключение можно сделать лишь для героев «Бесов», где пафос обличительства отвлек Достоевского от углубления в розыск и описание патологий, и для «Подростка» в силу того, что этот характер в становлении... Это великая книга, насыщенная совершенно неожиданным у Достоевского оптимизмом.

Но суть дела не в терминологии, ибо и термин сам по себе есть символ,— просто очень свойственно человеческому мышлению исходить от замеченной тенденции, в частности, от того непреложного правила, что приемы характеристики у писателя одинаковы как при создании исчадия ада, так и непогрешимого героя без упрека. Так и здесь: раз Достоевский при создании образа отталкивается от отклонения, патологии души, то равно теми же средствами рисуется первый *Uebermensch** в литературе — Родион Романович Раскольников; концентрированное и подразделенное на три типа выражение духа русского человека — Карамазовы, и теми же средствами — светлейший, ангелоподобный лик князя Льва Мышкина, образ, которым Достоевский искупал свою «вину» за выпуск в пораженное воображение человечества галереи то буйно, то тихо мрачных индивидуалистов, бредущих по ту и эту сторону добра и зла.

Итак, в герое «Идиота» воплощена *заданность темы*: искупление христианским смирением, всепониманием и вселюбовью несовершенства мира; *цель показа*: дидактическая и оправдательная; *побуждения автора*: тоска по идеальному, положительному человеку; *средства воплощения*: исключительность (патология) героя как раздражитель устоявшихся (не принимаемых Достоевским) коллизий и содержаний характеров типичных представителей «петербургских типов» в устоявшейся же художественной интерпретации автора; *прототип*: неконформный член общины, наивный, а потому и убедительный проповедник добра и всеобщей любви, Иисус Христос; *результат*: он вернее всего выражается теми евангельскими стихами, что Достоевским взяты в эпитафию к «Братьям Карамазовым» об искуплении собственной гибелью: если же зерно попадет в добрую землю — оно погибнет, но даст многие всходы, слова, определяющие сущность христианства и смысл подвига Христа. Поскольку Достоевский исходит из заданного прототипа, то и раскрытие образа героя — князя Льва Мышкина — ведется в канве и ситуациях, сходных по общему смыслу с евангельскими; разумеется реминисценции художественно преобразованы, лишь в идее перекликаются, затемнены.

Как и Христос, князь Мышкин вводится в действие в годы первого серьезного отчета за жизнь, формирования мировоззрения, определения и обретения жизненных позиций.

* Сверхчеловек (нем).

«Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет двадцати шести или двадцати семи, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впальми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полнее того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте паучую болезнь» («Идиот»).

С такой-то внешней характеристикой князь Мышкин вступает в многоликий мир. Кто он, что он, откуда и зачем взялся? — Никто его не ждет и ничто его не ждет, так, наверное, и приходят пророки, люди не от мира сего, приходят, чтобы встряхнуть болото, смутить к любви и добру умы — почву добрую, а самим погибнуть, вернуться туда, откуда они и пришли. В романе это последнее подчеркнуто символически: от Шнейдера Мышкин пришел, к нему он и вернулся.

«Заповедь новую даю вам», — характер князя автор недолго таит, он уже раскрывается в сцене с камердинером генерала Епанчина. И не случайно ошарашенному камердинеру приезжий князь с узелком проповедует заповедь: «Не убий!» — первую заповедь христианства. «Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойное (Вспомните статьи Льва Толстого о смертной казни).

...Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ручательство, безобразное, ненужное, напрасное. Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: «Ступай, тебя прощают». Вот этакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!» («Идиот»).

Кстати, в «Идиоте» более всего из всех произведений, минуя «Записки из мертвого дома», моментов к обращению к собственной биографии Достоевского. Это и понятно, выражая свой идеал человека, всякий по необходимости должен отталкиваться от самого себя; чужими чувствованиями здесь не обойтись... Быть может, гражданская казнь Достоевского была тем мигмом, которых в жизни лишь несколько и бывает (у большинства же и вообще не бывает), и которые неотступно стоят на страже в том проходе из активного сознания в подсознание, что всегда наготове и до смертного часа накладывает свою руку на каждое мыслительное движение. В только что цитированном месте Мышкин ужасается — Достоевский устами князя — чувству осужденного на смерть, приготовившегося и помилованного. И через некоторое время действия романа он вновь обращается к этому ужасу воспоминания:

«Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование...» («Идиот»).

Неотступно герой Достоевского убеждает: нелеп, негармоничен мир, где царствует отмщение. (Сравните каторжников Достоевского и Жана Вальжана?).

«Горе тому, кто соблазнит единого из малых сих!» — христианская заповедь эта подразумевает несовместимость учения о добре и любви с индивидуалистическим, кастовым построением общины. Навыки ж; эгоизма и косности закладываются в детстве. Вот этот-то евангельским эпизод отвращения «малых сих» от дурного примера и подстрекания: взрослых, но злых и неразумных (в христианском смысле), вспоминает князь Мышкин, рассказывая о Мари. Особенно этот эпизод можно понять, вспоминая, что сам Достоевский очень любил детей, как любят их все те, кто мучительно воспринимает ложь и лицемерие окружающих людей, кому ясны и открыты все непривлекательные стороны обычной душевной жизни человека. Юродивый, «идиот», безумец — у Достоевского это символ человеколюбца, носителя христианских идеалов. Он смешон, лишь дети, натуры еще не испорченные, непосредствен-

ные, ангелы души и мысли, существа нравственно чистые, любят равного себе по духу, бескорыстно, любви ко всем и всея. Все это раскрывается в эпизоде с Мари.

«Положительный» герой Достоевского в лучших чертах раскрывается именно в разговорах с «малыми мира сего», а в романе это и Мари, и швейцарские детишки, это Аглая, Настасья Филипповна, Рогожин, генеральша Епанчина, все те юные и отнюдь не юные, в ком не возобладала полностью испорченность, что в переводе на язык обычного, «практического» человека означает: «еще детство в нем не выветрилось!»

Софья Ковалевская в «Воспоминаниях детства» пишет о знакомстве ее и ее сестры Ани с Достоевским, что в первую встречу, в присутствии их матери, решившей устроить обычный светский прием писателя, тот нервничал, нарочито грубил и в конце концов через полчаса встал и ушел.

«Однако, дней пять спустя, Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели на диван и тотчас заговорили как два старых, давнишних приятеля. Разговор уже не тянулся как в прошлый раз, с усилием переходя с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта, и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивая друг друга, шутили и смеялись».— В подтверждение сказанного выше. Эти воспоминания Ковалевской очень ценны для понимания обширного автобиографизма романа «Идиот»; чтобы не перечислять моменты схожести, приведем лишь фразу из объяснения сестры Софьи Ковалевской, Анюты, по поводу отказа последней на предложение Достоевского:

«...— Вот видишь ли,— начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь:— я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный!— она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце,— но как бы тебе объяснить? Я люблю его не так, как он... ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж!— решила она вдруг».

Очень много схожих мотивов в высказываниях Аглаи. Сопоставляя воспоминания современников, личность Достоевского-писателя и Достоевского-человека, а также конечно-заданную цель показа образа Льва Мышкина, можно утверждать: Достоевский (на личной своей жизни, наблюдениях и анализе обычных житейских ситуаций) пришел к убеждению, что обычная форма любви личной, плотской для положительного, идеального человека является источником искупительного страдания, существует замкнутый круг: идеальным человеком добра и любви может быть лишь человек не от мира сего, «идиот», «юродивый». Лишь он способен на действенную проповедь всеобщей человеческой любви. Любовь мужчины к женщине — лишь частная, малая сторона этой великой вселюбви; естественно, что такой глашатай вызывает и любовь в женщине, но последняя, в силу естественного назначения к продолжению рода человеческого, не может не обратиться к частности, отвращаясь от общности. Она начинает испытывать любовь к человеку не от мира сего, носителю добра и любви.

Тот же, понимая личную любовь как составную частицу любви всеобщей, отвечает ей. Возникает невольная любовная коллизия, но в силу различных конечных устремлений эта любовь никому не приносит почти ничего, кроме страданий и терзаний. «Почти», ибо «идиот» и в страданиях находит искупительное добро, а добро радуется...

Случай с сестрой Софьи Ковалевской многое подтверждает.

Есть в романе сцена, когда в смешанном обществе у Настасьи Филипповны устраивается некое салонное подобие лютеранского публичного каения в грехах, пресловутое *пети-жэ*; эта сцена тоже не без второго смысла: кто-то под тезисом «самый гадкий поступок» выставляет себя в благороднейшей, выгоднейшей ситуации, Кто-то откровенно любит, испытывая мазохическое наслаждение своими мерзостями, кто-то считает нужным отмалчиваться. Несомненно, князь, при его страсти к моно-

логическим изложениям, вряд ли бы воспользовался такой возможностью в таком собрании слушателей... Но князь — как вовсе отсутствует в этой сцене и не без основания: этот чистый человек не может что-либо припомнить греховного, содеянного в жизни. И если Фердыщенко испытывает *embarras de richesse* (затруднение из-за большого выбора, фр.), то князь, вполне вероятно по свойственному чутким людям негативизму, испытывает это же *embarras de richesse*, но только из-за большого выбора противоположных дурным поступков в своей жизни...

Чистота помыслов князя Мышкина — большей частью от идеализированного восприятия жизни, да он ее и не знает вовсе: что он мог видеть в горной швейцарской деревушке? Собственно, только с приездом в Петербург он и начинает узнавать действительную жизнь, его так скоро и погубившую, проповедника любви, добра, идеалиста. Он идет от бога доброго, справедливого, его искренняя религиозность — это то, что потом оформится в учение Толстого как царство Божие внутри вас:

«Сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения ни под какие проступки и преступления и не под какие атеизмы не подходит: тут что-то не то, и вечно будет не то: тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь, и вот мое заключение!» («Идиот»).

Естественно вполне, что восторженный идеализм князя всколыхнул наиболее чувствительные души (ведь не только бури нарушают покой души...). В природе человека ко всякому необычному явлению искать прототипа, не замедлило это сказаться и в окружении Мышкина, тем более, что имя его прототипа, как идеалиста от добра, известно было с детских лет: Дон-Кихот. Так получает князь новое крещение в роли «рыцаря бедного». Поясняет Аглая: *«Рыцарь бедный» тот же Дон-Кихот, но только серьезный, а не комический*. Мышкин, более чем Дон-Кихот в смысле христианского понимания любви к ближнему, в знаменитой сцене вымогательства именем «незаконного» сына Павличего-Бурдовского, сцене подстать прощения Христом предавшего его Иуды, герой романа почти что декларативно и очень художественно-иллюстративно заявляет о еврейской практической приверженности заповеди «возлюби врага своего», и итог: неукоснительное следование этой заповеди ведет к полному раскаянию «нигилиствующих» мздоимцев, более высокие чувства возобладают в слабодушном подложном сыне Павличева и даже в озлобленном, умирающем Ипполите. Последний является подтверждением девиза: *«В любом, самом последнем негодяе где-то глубоко-глубоко спрятано доброе, остаток невинности детства и юности»*. Даже простецкий, откровенный лжец Келлер раскаивается в своих «двойных мыслях», некое благородство вспоминается в его раскаленной вином голове.

Князь бесконечно прощает и возлюбил как брата даже Рогожина, евангельским же прототипом которого является Иуда (поцелуй Иуды — обмен крестами князя и Рогожина). Два эти человека переплелись, обменялись не только крестами, но и душами. Они поставлены по отношению друг к другу в ситуацию, столь хорошо разработанную совершенными экзистенциалистами: «палач и жертва». И так они шли до конца — оба до безумия:

«По крайней мере, когда, уже после многих часов, открылась дверь и вошли люди, то они застали убийцу в полном беспомоществе и горячке. Князь сидел подле него неподвижно на подстилке и тихо, каждый раз при взрывах крика или бреда больного, спешил провеешь дрожащею рукою по его волосам и щекам, как бы лаская и унимая его. Но он уже ничего не понимал, о чем его спрашивали, и не узнавал вошедших и окружавших его людей. И если бы сам Шнейдер явился теперь из Швейцарии взглянуть на своего бывшего ученика и пациента, то и он, припомнив то состояние, в котором бывал иногда князь в первый год лечения своего в Швейцарии, махнул бы рукою и сказал бы, как тогда: «Идиот!» («Идиот»).

Положительный герой в творчестве Достоевского не единичен: это Подросток, Алеша Карамазов, ряд неглавных персонажей в романах и повестях, наконец, и князь Мышкин. Писатель искал «правильного» человека в обладателе христианских качеств доброносителя, проповедника всечеловеческой любви, сострадания, непротивления злу, как воспитательного средства. Алексей Карамазов и Лев Николаевич Мышкин наиболее близки к идеалу, последний — даже чересчур близок...

Выше уже говорилось о сходстве и различии идеалов положительного героя у Достоевского и Толстого, но герой «Идиота», может быть, более всех других героев его и самого Толстого подходит под тип человека высшего порядка, описанного в качествах своих в религиозно-философских трактатах Толстого.

Можно без конца приводить аргументы против христологической концепции положительного героя у Достоевского, но почему же в истории человеческой навечно остаются Дон-Кихоты **живыми** людьми, а великие покорители полумира — лишь каменными изваяниями? Создается страннейшая до абсурда ситуация: все люди цивилизованного мира знают, любят и одобряют Дон-Кихота, многие знают и князя Мышкина, абсолютно все знают Христа (правда, намного меньше знают его непрепарированное учение). Все добрые качества и задатки в людях сызмала возрастают и крепнут по примерам этих идеалов. Но одновременно с этим существует и устоявшееся, и поддерживаемое мнение, что-де Христос древен и наивен, Дон-Кихот смешон, Жан Вальжан — обычная выдумка французского романа, князь Мышкин — идеалист с реакционными монологами и пр. Но отчего, взрослея разумом, люди вновь и вновь возрождают в душах своих прежние идеалы? И так ли однобоко глупы были Достоевский и Толстой, рисуя своих героев, положительных в их замыслах; словно мысли их работали по ранжиру: на первый-второй рассчитайсь! Первые — умные и проницательные, вторые — заблуждения, реакционность, недалекость *etc.*

Человек един, если он не шизофреник, и если он глуп, то глуп во всем, а если это великий талант, то талант на все наложит печать свою, и не только внешнюю, как принято считать, но именно **на мысль**, на внутреннее содержание. И мера таланта определяется не расхожими хрестоматийными характеристиками, а тем, во скольких душах единая **цельная** мысль автора найдет второе «Я». И что можно поделать с собственной мыслью, если человек, давно вышедший из униформы напыщенного школьника, перебрав все возможные формы «пути жизни» к достижимому приближению к идеалу — не будем громко говорить: совершенного человека, пусть — просто гармоничной, гуманитарной личности, к изумлению своему, вновь возвращается к единственному пути, некогда наспех и по чужому изложению прочтенному и отброшенному в возрасте все того же напыщенного от гордости собственного мизерного знания жизни школьного мундирчика.

Можно, конечно можно было (и это вполне было под силу Достоевскому, и он это понимал прекрасно) лишить князя Мышкина смешных черт, сделать его пообразованней, научить ловко танцевать, избавить от падучей, обречь его проповеди в менее голую форму. И что ж осталось бы тогда от идеала писателя? Всякие теории разумного эгоизма? Вот уж истинно теория для идеала, только исповедующие ее чаще зовутся более крепкими терминами. Идеал он тем и хорош, что заставляет стремиться к совершенствованию души, а не системы устройства против угона личного автомобиля. Хотя и это — не лишнее практического смысла занятие.

Проблема возникает тогда, когда автор ее не может однозначно представить: чего же он хочет; по-моему, именно в «Идите» этот вопрос Достоевского не мучил, он просто выражал свой идеал.



Сергей Норильский
(г. Тула)



ВО ВЗЫСКАНИИ ВЕЧНЫХ ИСТИН

Заметки о творчестве Игоря Золотусского

Сергей Норильский (Сергей Львович Щеглов) автор шестнадцати документально-художественных, историко-краеведческих, литературно-критических, литературоведческих и публицистических книг и брошюр. Среди них: «Город Норильск» (1958), «Николай Федоровский» (1967), «Сергей Степанов» (1974), «Владимир Лазарев» (1986), «Не вечно зло, если добро множит» (1999), «Извечный поединок света и тьмы в прозе и драматургии Игоря Минутко» (2006), «Павел и Клавдия» (2008) и другие. Дважды удостоен журналистской премии имени Глеба Успенского, лауреат литературной премии имени Льва Толстого (2000). Составитель и автор текста трех томов книги памяти жертв политических репрессий в Тульской области. Основатель и председатель Тульского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал»». Член Союза журналистов России, член Союза российских писателей.

28 ноября 2010 года известному литературному критику Игорю Петровичу Золотусскому исполнилось 80 лет. Он — один из авторов нашего журнала. Мы попросили его давнего коллегу и друга Сергея Львовича Щеглова (Норильского) рассказать о творческом пути этого человека.

В 1968 году в московском издательстве «Искусство» тиражом 32 тысячи экземпляров вышла книжечка журналиста И. Золотусского «Фауст и физики» — «о старом Фаусте и новых физиках — о человеке науки в искусстве». То были размышления о смысле в целях жизни, о судьбе человечества в бесконечной Вселенной на фоне и материале достижений знаний и мысли, накопленных к середине двадцатого столетия.

«Человек не может жить, не думая о бессмертии,— рассуждал автор.— Пусть он лично смертен, он уверен в своем продолжении, в своей необходимости в цепи жизни. Он не может представить, что у этой цепи будет конец. Само знание остановилось бы, если бы человек думал иначе (...). Распространение образования — не механический процесс. Оно разбрасывает споры знания, которые заражают желанием знать. Оно порождает Фаустов, которые не удовлетворяются верой».

Золотусский привел высказывание создателя кибернетики Норберта Винера: «Я никогда не представлял себе логику, знания и всю умственную деятельность, как завершенную замкнутую картину; я мог понять эти явления только как процесс, с помощью которого человек организует жизнь таким образом, чтобы она протекала в соответствии с внешней средой (...). В этом источник трагедии, но и славы тоже».

Золотусский так комментировал высказывание Винера: «Это слава науки. Это не успех, не преуспевание (...). Слава заключена в самом знании, в отслеживании неизвестного. Процесс, а не итоги его, дает ощущение славы».

Завершалась книжка следующим размышлением: «Только великие поэты сбрасывают порой вериги «здорового смысла». Раскованное мышление гениальных поэтов позволяет им разглядеть истину там, где другие пока слепы. Они (поэты С. Н.) интуитивно проникают туда, куда только через некоторое время в результате титанического труда удается пробиться гению ученого.

Александр Блок писал, — вспоминал далее автор: —

*Нам казалось, мы кратко блуждали.
Нет, мы прожили долгие жизни...
Возвратились — и нас не узнали,
И не встретили в милой отчизне.
И никто не спросил о Планете,
Где мы близились к юности вечной.*

Это написано в 1904 году, — подчеркивал Золотусский. — За год до публикации Эйнштейном частной теории относительности. За несколько лет до того, как на основе этой теории появилось представление о парадоксе времени. Как мог Блок это реально представить и пережить — непостижимо!» (118).

Книжечка Золотусского была замечена. О ней с уважением писал критик Евгений Сидоров в статье «Фауст и физики» (журнал «Юность», 1969, № 9). Ее анализировал литературовед Александр Липелис в академических «Вопросах литературы» («Процесс, а не итог». 1971, № 9). Глубина проникновения в тему, актуальность поднятых вопросов, гуманизм и демократичность позиции автора, безупречный стиль не могли не обратить на себя внимания. Главные вечные вопросы мировоззрения были высвечены в полном соответствии с эпохой.

Два года спустя после «Фауста» Игорь Золотусский выпустил в издательстве «Советская Россия» сборник литературно-критических статей «Тепло добра» (20 тысяч экземпляров). Со свойственной ему пристальностью всматривался критик в творчество современных авторов: Юхана Смуула, Валентина Овечкина, Юрия Бондарева, Константина Симонова, Глеба Горышина, Даниила Гранина, Николая Амосова, Ивана Ефремова, Леонида Леонова, Василя Быкова, Василя Белова, Юрия Казакова, Михаила Рошина, Андрея Битова. Дополнялась книга размышлениями о романе Толстого «Война и мир», спором с кинофильмом Сергея Бондарчука. В романе критик видел главное: правду жизни, правду истории, которая освещена прожектором гуманизма и нравственности, не подчиняющейся условиям идеологических теорий. «Война для Толстого не доблесть, не эпос, — заключал Золотусский (...). Война отвратительна, это худшая ложь мира и только как ко лжи относится к ней Толстой (...). Это отношение злое, отношение боли и насмешки, негодования и отчаяния. Толстой не может выводить из войны баланс прогресса (...). Для России война двенадцатого года была справедливой войной. Но зачем она была нужна французам? Они проливали кровь за «общее благо» по «государственной необходимости»? Но эта необходимость была только необходимостью Наполеона, и он-то не платил за нее. Платили другие. Плата эта и ожесточает Толстого. Его ожесточает ложь о цели, якобы оправдывающей кровь» (214 — 215).

Игорь Золотусский с первых своих работ отчетливо выделялся среди советских критиков, даже наиболее талантливых и эрудированных. Его отличало собственное видение явлений, событий, лиц. В атмосфере политической оттепели перед ним расстилалось поле литературной и публицистической деятельности. Сын родителей, подвергшихся политическим репрессиям в 1937—1941 годах, с детства испытав все последствия этих событий, благодаря собственной стойкости и целеустремленности, сумев получить образование в одном из лучших университетов страны, стать журналистом, а затем и литератором, неуклонно шел он избранным с детства путем. Шел,

преодолевая преграды, чинимые «наследниками Сталина», не приспособиваясь к их требованиям, не склоняя головы, силой таланта достиг уважения и успеха. И в школе, где два года преподавал словесность (1954—1956), и корреспондентом комсомольской газеты, радиовещания в Хабаровске (1956—1963),— всюду «сеял разумное, доброе, вечное» в полной уверенности, что семена не упадут на камень, дадут всходы.

Первая книга очерков — «Обитаемый остров» — вышла в 1965 году в Ярославле. Шесть лет спустя повесть «Пока мы вместе» увидела свет в журнале «Сибирские огни». То было повествование о детстве, искалеченном арестом родителей. В «Сибирских огнях» тогда работал замечательный человек Николай Николаевич Яновский, который дал ход многим талантам, помог и Игорю. Повесть Золотусского получила заслуженную высокую оценку во всесоюзном журнале «Детская литература» (1971 г., № 10).

Однако, напор таланта вел Золотусского своим путем и он с него не сворачивал. Критика была его призванием. В 1967 году его пригласили в «Литературную газету» и четыре года он трудился там корреспондентом.

В 1976 году выходит третья литературно-критическая книга Игоря Золотусского: «Час выбора». (Москва, «Современник», 25 тысяч экземпляров. 318 страниц).

«Выбор в критике уже талант,— говорилось в предисловии. — Хорошо писать о пустом, наверное, невозможно. Есть критики — «технари», которые, как футболисты, умело владеют обводкой. Они способны привести в восхищение стадион, финтуя по полю. Но гола от них не дождешься. В самом утилитарном виде мастерство — это «доходчивость», «читабельность», увлекательность критики. Действительно, это не последнее дело. Но разве так уж доходчив Белинский? Увлекателен Аполлон Григорьев? Включение в их мир требует напряжения».

Золотусский напомнил слова Пушкина о начинавшем Белинском: «если бы с независимостью мнений и с остроумием соединил он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности,— словом, более зрелости,— то мы бы имели в нем критика замечательного».

Автор юношеской трагедии «Дмитрий Калинин» прожил после этих пушкинских слов двенадцать лет, приобрел все, что советовал поэт, отверг побочное и стал замечательным критиком.

«Уважение к преданию», указанное Пушкиным, стало ключевым для Игоря Золотусского. Вторая (большая) часть его третьей книги так и озаглавлена.

«Уважение к преданию,— пишет он,— подразумевает уважение ко всему подлинному, что создало до нас искусство и, в том числе, искусство критики,— будь то прошлый век или ближайшие десятилетия. Ничто подлинное из созданного ранее не отменяется вновь созданным подлинным. На новом этапе совершается «обновление начала», которое есть связь, передача и непрерывность».

Приняв это кредо, Золотусский остается верен ему всю свою литературно-критическую жизнь.

В «Часе выбора», во второй части, критик заново перечитывает пушкинскую «Метель». Но больше всего уделено место Гоголю. О нем — главы: «Записки сумасшедшего» и «Северная пчела». «Игра в реальность» (о жизнеописании Гоголя, составленном Анри Труайя). «Необходимые замечания» (резкий отзыв на стихотворение А. Вознесенского «Похороны Гоголя Николая Васильича»). Последняя глава — «Лихорадка и синтез» — посвящена анализу экранизации романа Достоевского. Все эти вопросы рассмотрены под знаком «Уважения к преданию».

Первая же часть книги была отдана текущей советской литературе. Взято наиболее значительное из последних сорока лет. Плавно перетекают одна в другую статьи о Андрее Битове, Василии Белове, Михаиле Булгакове, Чингизе Айтматове, Василе Быкове, Василии Шукшине, Евгении Носове, Юрии Трифонове. В ряды оставивших

след в современной литературе вклиниваются писатели, не успевшие сделать этого (Олег Куваев и др.).

* * *

О Гоголе написано множество книг. Его жизнь и творчество — предмет исследования крупнейших писателей, литературоведов и русских критиков на протяжении 19—20 веков. Николая Васильевича превозносили, а иногда и порицали Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Дружинин. Над ним ломали головы И. Котляревский, И. Мандельштам, Д. Овсяннико-Куликовский, В. Переверзев, В. Виноградов, В. Кулиш, В. Шенрок, А. Белый, В. Розанов, Д. Мережковский, В. Брюсов, В. Короленко, С. Дурьлин, А. Воронский. Да мало ли еще кто!

Какой же отвагой надо было обладать, чтобы на паханном — перепаханном, засеянном — пересеянном поле найти не то что необработанные уголки, а попытаться вырастить урожай, по меньшей мере, достойный предыдущих орателей. Такая отвага воодушевила Игоря Золотусского. Десять лет напряженной работы, и вот — итог: книга «Гоголь» в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей» (Москва, 1979 г.). Последовали споры, столкновения мнений. В 2009 году «Гоголь» вышел вторым изданием.

Огромный труд, вложенный автором в пятьсот страниц текста, изобилуя множеством открытий. Перед читателем предстал портрет, настолько близкий к оригиналу, что все предыдущие образы Гоголя казались эскизами.

Что же заставило литературного критика, добившегося признания, отвлечься от плодотворного поприща на ниве современности, и отдать лучшие творческие годы изучению феномена по имени Гоголь?

Заметки о книге Анри Труайя (1973) Игорь Петрович начал с мысли: «Без Гоголя нельзя понять Достоевского и Толстого и переход русской литературы и русского сознания от Пушкина к ним, к поставленным их творчеством и судьбой проблемам».

Познание этих проблем не могло не стать целью такого человека, как Игорь Золотусский. Но этого мало. То требование его ищущего ума А было еще сердце. «Без святости чувства в душе, без мысли, достойной разбудить эту ушедшую жизнь (...) нет повода прикасаться к святому, иметь дело с ним. К этому приходят внутренним развитием, неизбежной потребностью жизни, а не так, — на посиделки, на минутку, чтоб отметить, что и ты здесь был». Так начинал в 1974 году Игорь Петрович «Необходимые замечания» относительно стихотворения Андрея Вознесенского «Похороны Гоголя Николая Васильича». Внутреннее развитие, приведшее к «неизбежной потребности жизни», думаю, и вовлекло известного критика в путешествие вглубь литературной истории. Это, наверное, трудно понять с точки зрения «здорового смысла», того литературного практицизма, которым насыщено наше время.

Тема эта стала материалом книг Золотусского «Душа и дело жизни» (Москва, 1981), «По следам Гоголя» (Москва, 1984, 1988), «Гоголь, Лермонтов, Жуковский» (Москва, 1986).

В 2009 году, когда Россия отмечала 200-летие писателя, Игорь Петрович представил на телевидении серию рассказов о его жизни и творчестве. Эти рассказы отразили вехи многолетней работы исследователя над образом Гоголя и отличались глубиной проникновения в мир великого поэта.

Значимость деятельности Игоря Золотусского еще и в том, что, связав себя столь прочно с историей отечественной литературы, с ее вершинами, он не остался на сияющих высотах, не сделался «столпом науки». Звания и степени мало интересовали его. Он продолжал участие в текущем литературно-критическом процессе.

Через год после первого издания «Гоголя» выходит четвертый сборник статей и

очерков Золотусского: «Монолог с вариациями» (Москва, «Советская Россия», тираж 75 тысяч, страниц 416). В отличие от первых трех, это солидный том формата 13 на 21 сантиметр (первые три были значительно меньше).

Игорь Петрович сообщал в предисловии: «Эта книга составлена по преимуществу из трех работ: «Фауст и физики» (1968), «Тепло добра» (1970) и «Час выбора» (1976). Включены в нее и несколько статей, напечатанных в периодике».

«Оглядывая сейчас книгу,— продолжал автор,— я вижу, что хоть монолог и изобилует вариациями, он — монолог (...) лица. Я и теперь готов подписаться под тем, что было написано пятнадцать лет тому назад. Конечно, я и мое отношение к вещам изменились за эти годы. Менялся даже стиль. В молодости я просто мучился над каждой фразой, амбициозно думая, что если выскажусь не так, как все, то скажу нечто новое. Теперь я отношусь к процессу писания проще. Неважно, как писать — важно, что сказать. Если есть что сказать, то «как» — приложится. Оно явится без усилий самолюбия».

1983 год ознаменовался в жизни Золотусского выходом его пятой книги: «Очная ставка с памятью» (Москва, «Современник», 25 тысяч экз., с. 288). Основной раздел — «Трепет сердца», почти треть книги — был составлен из новых работ.

Шли годы, менялась жизнь, что-то из нее уходило, что-то в ней возникало. Как бы незаметно менялись оценки прошлого. То же происходило и в литературе. Далеко позади остались годы двадцатые, да и шестидесятые уже закатились. Плеяда военных и послевоенных писателей пополнилась новыми талантами. Новые книги написали Василий Белов, Василь Быков, Чингиз Айтматов. «Несколько раз принимался я писать о К. Воробьеве,— признавался Игорь Петрович,— и всякий раз оставлял: слишком высокую ноту приходится брать, хочется подхватить его крик (...), но не хватает сил, недостает напряжения. Страшно сорвать голос». Однако написал.

Роман Белова «Кануны» заставил по-новому взглянуть на «Поднятую целину», считавшуюся классикой литературы о коллективизации. Солженицына тогдашние власти и их прислужники заклеили «литературным власовцем». О Бунине стали упоминать уважительно, зато о Борисе Пастернаке старались не распространяться.

«От совести — прямой путь к правде»,— говорил Золотусский в статье о Пушкине. Романы Виталия Семина и Федора Абрамова попали в круг его обзора. С болью и гневом писал Игорь Петрович: «Есть ли писатель без правды, (...)»? Впрочем, есть. Есть литература полуправды, четверть правды, одной пятой правды (...). Есть герои умения сводить концы с концами, герои кисло-сладкого реализма, который только по идее хорош, как смесь правды с ложью (...). Иной и выскажет правду и тут же оговорится: я то-то и то-то имел в виду».

В послесловии автор книги размышлял: «Критика — не профессия, а поведение (...). Никто так не роняет достоинство критики, не дает основания судить о ней как о сфере обслуживания, как тот, кто послушно изгибается в сторону обстоятельств».

Книга заканчивалась следующим признанием: «Жить и писать в окружении талантов — счастье (...). Это создает твоё собственное внутреннее напряжение и напряжение вокруг тебя (...). Я мог бы назвать, по крайней мере, полтора десятка имен, которые есть цвет нашей критики и цвет русской литературы. Цвет в отношении мастерства, высоты критериев и истинного мужества».

Среди таких имен Игорь Петрович упоминал Николая Николаевича Яновского. «Это критик высшего благородства и высшей трудоспособности. Литературная Сибирь обязана ему своей историей».

Я бы добавил: не только Сибирь, но и Россия в целом (я много лет учился у Яновского как критика и знаю диапазон его творчества).

Последующие книги Золотусского «Трепет сердца», (Москва, «Современник», 1986), «Федор Абрамов» (Москва, 1986), «Поэзия прозы» (Москва, «Советский писа-

тель», 1987), «Исповедь Зоила» (Москва, «Советская Россия», 1989), «В свете пожара» (Москва, 1989), «Крушение абстракций» (Москва, 1990), «На лестнице у Раскольникова» (Москва, «Фортуна Лимитед», 2000) продолжили его искания. Каждая из них вносила что-то новое в осмысление современной литературы. Его статьи в «Московских новостях», «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Знамя», «Литературное обозрение», «Литературная учеба», «Смена», «Искусство кино», выступления по радио и телевидению не только освещали, но и творчески обогащали отечественный литературный процесс. «Вечера в доме Гоголя», «Нравственные проповеди», «Петербургские сюжеты» (1992—1999) запомнились зрителям и слушателям обилием сведений, обоснованностью оценок.

Невозможно представить русскую критику, да и нашу литературу второй половины двадцатого — начала двадцать первого века без Игоря Золотусского. Талант исследователя, аналитика, яркого публициста, бескомпромиссность и «уважение к преданию» снискали ему известность на родине и за рубежом.

Его общественная деятельность также весьма значительна. Вступив в Союз писателей в 1963 году, Игорь Петрович немало сил отдал организационной работе. Пять лет — с октября 1991 по 1996 — был председателем и некоторое время первым секретарем Союза Российских писателей. Неуступчивость в вопросах принципиальных привела к тому, что он «на неопределенное время приостановил» участие в этом союзе. Член Русского ПЕН-центра, Почетный председатель общества российской словесности, член жюри литературной премии «Ясная Поляна», Президент международной Ассоциации творческой интеллигенции «Мир культуры», председатель Регионального общественного Фонда сохранения творческого наследия Н. В. Гоголя. В 2008—2009 годах состоял членом оргкомитета по празднованию 200-летия со дня рождения творца «Мертвых душ». Награжден орденом «Знак почета» (1984 г.), премией журнала «Огонек» (1988 г.). В 2005 стал лауреатом литературной премии Александра Солженицына.

Выступая на Международных яснополянских писательских встречах 2006—2007 гг., Игорь Петрович говорил: «Грустно мне от того тяжелого впечатления, которое производит современная словесность (...). Русское слово тает и уходит куда-то».

И еще одна причина для грусти. «Помню, Витя Ерофеев мне говорил: вот мол, Достоевский недоисследовал глубины зла, вот мы сейчас погрузимся еще глубже (...). А я ему сказал: «Витя! Если вы будете погружаться в глубину помойной ямы, это не будет значить, что вы погружаетесь в глубину человека». Мне кажется, что сейчас происходит именно такое погружение». («Международные яснополянские писательские встречи 2006 — 2007 г.г.». Тула, изд. Дом «Ясная Поляна», 2008, с. 115—116).

В 2008 году вышла книга Игоря Петровича «Нигилисты второй свежести. Раздумья на исходе эпохи» (Иркутск, издатель Сапронов 400 стр.). Сборник содержит эссе, статьи, интервью автора в наши дни. Автор рассуждает о путях современной России, о роли интеллигенции «старой школы» и нынешней. «Понятие «нигилист», — напоминает он, — появилось в России после реформы Александра Второго, в начале 60-х годов девятнадцатого века. В 1862 году вышел роман Тургенева «Отцы и дети», где сын обедневших дворян Базаров отрицал все и вся: власть, искусство и саму любовь. Он был нигилист «первой свежести». Потому что строгость суждений распространял не только на господ эксплуататоров, но и на себя (...). Такие, как он, (...) отреклись от комфорта, от больших денег и игр с совестью. И их стоило за это уважать (...). С тех пор минуло много лет, и облик нигилиста сильно изменился (...). Среди нигилистов «второй свежести» немало бывших членов КПСС (...). Не хотелось бы предсказывать, что будет с ними лет через десять-пятнадцать (...). Мне по душе то, о чем так прекрасно сказал Данте: «Отвергнув желчь, разыскаю яблочко сада»».

В статье «Истребление хамов», посвященной этой книге («Литературная газета»

14 октября 2009 г.), Илья Кириллов писал: «Литература для Золотусского — явление социальное, нравственное, идеологическое, даже религиозное. Касаясь этих составляющих, он неизменно взыскует истины».

Такие поиски открывают простор для дискуссии. Книга заслуживает вдумчивого прочтения и анализа, поскольку является в некоторой степени итогом многолетних раздумий автора над жизнью, литературой и историей.

После «Нигилистов второй свежести» Игорь Петрович опубликовал еще три значительные работы: «Я человек, Ваше сиятельство» (комментарии к походу Чичикова), издательство «Московские учебники», 2009, «Слово о Гоголе», издательство «Принт-Маркет», 2009 и «Незримая ступень (русская литература и религия)», «Московские учебники», 2010.

Более сорока лет отдал Игорь Петрович Золотусский служению русской литературной критике. За это время в жизни страны произошли события всемирного значения. Они не могли не сказаться на состоянии художественной литературы, существенно повлияли на ее развитие. Появились значительные имена, свершился перелом мировоззрения писателей и их аудитории. Вечные истины жизни высветились в ореоле происшедших событий, доказали свою независимость от явлений, казавшихся определяющими пути человечества. Игорь Петрович верно служил магистральным идеям, не поддавался диктату властей и колебаниям общественного мнения. Его работы отличались последовательностью и целеустремленностью, какими обладали не так уж многие литераторы. Закономерно, что он в одной из итоговых книг упомянул изречение Данте.

Работа продолжается. Пожелаем нашему мэтру новых достижений!



Ирина Кедрова
(г. Москва)

О Л. Н. ТОЛСТОМ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ*

Название книги Г. Маркина «В напрасных поисках истины» удивляет и настаивает, поскольку сразу возникает вопрос: «И зачем читать то, что истины не даст?». «Да и возможно ли найти истину?»,— рождается следующий вопрос, который задает себе не только читатель, но и герой этой книги.

Героем оказывается Лев Николаевич Толстой. Об этом говорится в предисловии к изданию: «Столетию ухода... посвящается». Об этом же свидетельствует графическое изображение на обложке человека, идущего по России в глубокой задумчивости. К сожалению, не указан автор рисунка, который настраивает читателя на серьезное чтение.

Г. Маркин — писатель, печатавшийся в разных отечественных изданиях, многое сделавший для развития литературы, активно участвующий в деятельности писательских организаций Тульского региона.

Принадлежность к Тульской писательской среде объясняет его интерес и к Л. Н. Толстому, и к описанию жизни Крапивенского уезда дореволюционной Тульской губернии.

Разные истории из жизни простых людей, русских и не только, наполняют страницы книги, и мы, то весело смеемся, то печалимся, то задумываемся над быстротечностью бытия, то увлеченно познаем: как там, в XIX веке, жилось человеку. Яркие характеристики людей, описания природы, созвучные состоянию персонажей, образные сравнения, емкие характеристики, вызывающие зрительные ассоциации, являются достоинством мастерства автора.

Однако самое интересное — это возможность проникнуть в жизнь яснополянского гения, чье имя еще при жизни было широко известно в России и за ее пределами.

Вот перед нами необразованный, но добрый и ответственный человек — лезгин Магомед Эфендиев, попавший волею судьбы из дагестанского села в крапивенскую уездную тюрьму. Встреча с Толстым, глубоко понимавшим человеческую душу и знавшим законы Кавказа, перевернула жизнь Магомеда, принявшего нравственный совет: очисти себя, чтобы ярче засветил в тебе вечный свет.

Вот события, в которых проявляется несовершенство российской судебной системы, вызвавшее протест Л. Н. Толстого, требовавшего учитывать нравственную сторону любого судебного дела. Впрочем, тут мы попеняем автору. В его изложении Толстой говорит о необходимости «учета морально-нравственных обстоятельств дела». При том, что в рассказах Г. Маркина явно слышатся языковые обороты XIX века, здесь писательская интуиция подвела. О различии в подходе к морали и нравственности заговорили в XX веке. Много внимания этому уделил, например, педагог, академик РАО Б. Т. Лихачев, автор «Философии воспитания» (М., 1995).

Значимое произведение, давшее название всей книге,— рассказ «В напрасных

* Геннадий Маркин. В напрасных поисках истины: Рассказы. (Библиотека журнала «Приокские зори»).— Щекино, 2010.

поисках истины». Что знает рядовой читатель, не знаток биографии Л. Н. Толстого? Писатель ушел из Ясной Поляны, обидевшись на жену, простудился, умер в небольшом домике на станции Астапово. Конечно, литераторы, биографы, музейные работники знают гораздо больше. Однако книга рассчитана на широкую читательскую аудиторию.

В небольшом рассказе разворачивается буря страстей (общественных, супружеских, родительских, человеческих). Рассказ не просто освещает последние дни писателя. Автор проникает внутрь своего героя, пытается понять построенный им мир, анализирует события, переживает те чувства, что охватили 82-летнего старца. Разворачивается спор между мужчиной и женщиной, спор человека с самим собой, с обществом и навязанным государственным порядком, с людьми, которые пытаются использовать гениального творца слова и стремятся подчинить его своим интересам, пусть даже не всегда корыстным.

Зачем ушел Толстой из дома, покинув близких людей? Не за тем ли, чтобы все-таки отыскать правду жизни? А может за тем, чтобы снова и снова познавать людей — простых, необразованных, неграмотных, угнетенных и обиженных? Познавать и помогать им. Писатель уходит из жизни, оставляя живущим неразрешимые вопросы, вечный путь к истине.

Вторая часть книги под названием «Документальные рассказы» отвечает интересам Г. Маркина — юриста по образованию, знающего, сколь много важной информации о жизни в прошлом могут дать архивные материалы. Он тщательно изучает единицы архивного хранения, выбирая из них жизненные ситуации по уголовным делам. По сути, в авторе зыграла струна юриста-историка. И это само по себе значимо и интересно, а также поучительно, поскольку в описываемое время — в XVIII веке — происходило то же, что происходит и сейчас, а именно братоубийство в корыстных целях (Алтуховский Каин), недоказанные преступления (Презумпция невиновности). И тогда были, и сейчас есть те, кто честно выполняет долг по защите людей, и есть разномастные преступники.

Автор убедительно показывает, что и в те далекие времена существовал принцип: «лучше десять виновных освободить, нежели один невинный к смерти будет приговорен». И тогда «на страже закона и общественной тишины» стояли порядочные и опытные «защитники». Читатель может увлечься анализом давних событий и провести параллели с днем сегодняшним.

Однако, нам показалось, что обе части слишком разнятся, чтобы объединять их в одну книгу. И тот, кто с интересом станет читать бытописания, с трудом воспримет, например, объем денежного содержания уездного исправника, его помощника, столоничальников и других административных лиц. Эти сведения предназначены для лиц, одержимых историей дореволюционной полиции.

Тем не менее, книга Геннадия Маркина «В напрасных поисках истины» состоялась. Она вызывает читателя на размышления о судьбах человеческих, о прошлой и настоящей системе государственной власти, о развитии общества и общественной мысли.

Пожелаем же автору активной встречи с читателем, новых тем и открытий! А читателю — глубокого познания еще одного взгляда, требовательного и полновесного, на жизнь, на человека и общество!



Владимир Сапожников
(г. Тула)



ИСПОВЕДЬ ИДЕАЛИСТА-КОММУНИСТА

Кем же все-таки был Коба — товарищ Сталин? Кровавым злодеем, забрызгавшем кровью миллионов всю Россию, бывшую Российскую империю, сатрапом, шизофреником, подверженного навязчивой манией величия, с полным отсутствием критики своего состояния, как это бывает у таких душевнобольных?

Высокоинтеллектуальным человеком, гением, самостоятельно увидевшем светлое будущее народа, всего мира, искренне мечтавшего об высоких идеалах справедливости, социализма, коммунизма, как следующей неизбежной ступени развития человеческого общества?

Идеалистом, романтиком, восхищенно взирающим с юности на прекрасные подлунные картины Кавказских гор?

Закомплексованным в плане своей неполноценности с детства сыном (ходят слухи, что и внебрачным, от известного русского путешественника?) неудачливого алкоголика-сапожника из бедной то ли грузинской, то ли осетинской или иной кавказской народности семьи?

А были ли у него патологически-властолюбивого, порой до параной жестокого, прошедшего «школу» непримиримого соперничества с «иудошкой» Троцким, минуты человеческой слабости, оттаивания души, минуты раскаяния в собственной страшной гордыни?

Или он не случайно взял себе партийную кличку «Сталин», как бы подчеркнув, что он сверхчеловек, он не остановится ни перед чем при достижении поставленных целей: ни перед моралью, ни перед совестью, ни перед кровавым грехопадением — ведь он же как бы из стали, он непоколебим, он стальной!?

Да, идея построения человеческого, справедливого общества всегда витала в умах людей в сложные моменты истории, когда особенно безобразно открывалось дикое расслоение людей на нищих, но постоянно работающих и демонстративно жирующих на их труде, постоянно их грабящих, обворовывающих. Так было и во времена зарождения христианства, и во времена Великой французской революции, когда миллион голов был отпрепарирован через гильотину, и в 1917 году, когда даже терпеливый русский народ озверело начал срывать головы тогдашним олигархам, покрываемым безвольным, самым бездарным последним самодержцем всея Руси Николаем II.

Не дай бог, если нечто подобное повторится в нашей современной истории... Чувствуя это, нынешнее ворье спешно вывозит семьи, детей, наворованное за бугор, «в офшоры», в Австрию, Испанию, а еще надежней — в мировой притон для ворья всех мастей — в Англию. Чуют, чуют седьмым чувством, интуитивно, что недолго им осталось править бал во время чумы в России...

Философско-исторический роман известного русского прозаика Алексея Афа-

насевича Яшина «Катехизис идеалиста»*, только что вышедший в свет, не только о противоречивой личности Джугашвили-Сталина, жившего в не менее противоречивое время и в противоречивой стране. Это и размышления о нашем сегодняшнем, даже завтрашнем дне. Автору удалось, как видится, главное в его творческом замысле — мысленно перевоплотиться в образ самого Иосифа Виссарионовича, чтобы попытаться осознать, почувствовать мотивацию его — вождя поступков, поведения, исходя из тех представлений о нем и исторических фактов, которые окружали эту незаурядную, противоречивую личность.

Как оказалось, что бы выстроить, уловить логическую нить жизни Сталина, вроде бы «недоучившегося семинариста», как его иногда с издевкой представляют нынешние критики той эпохи, нужно быть, как автор романа А.А.Яшин, и доктором технических, и биологических наук, профессором, академиком многих академий, заслуженным деятелем науки РФ, членом союза писателей России, лауреатом многих литературных премий...

Оказывается не таким уж «сырым» и глупым был вождь «всех народов»! А, как следует из захватывающего повествования нового романа о Сталине, был высоко самообразованным, разносторонним человеком, прекрасно разбиравшемся и в конъюнктуре и экономических, и политических, и общекультурных дел не только в СССР, но и в мире в целом. А кроме этого — самое главное — великолепно разбиравшийся в людях со всеми их слабостями, гордынями, амбициями...

А какие замечательные стихи сочинял юный Сосо Джугашвили! Они приведены и органично звучат в тексте нового романа А. А. Яшина в переводе В. В. Резцова.

При углублении в образ Сталина автору романа удалось провести интересные параллели с нашей нынешней действительностью.

Насколько они верны — рассудит время. По прогнозам здравомыслящих современных экономистов «час икс» наступит не через пятьдесят-сто лет, а через пару-тройку годков, если в стране все будет продолжаться так, по принципу самотека, неконтролируемого дилетантства во всех сферах жизни, где «рулят» дилетанты всех мастей, но «свои» люди...

Вождь всех народов, как следует из романа «Катехизис идеалиста», больше всего на свете не уважал дилетантов, но ценил и возвышал профессионалов. Его знаменитая фраза «...Кадры решают все...» — актуальна и для наших дней как никогда. Не могут эффективно руководить сельским хозяйством страны врачи-кардиологи, здравоохранением — бухгалтер, образованием — бывшие сотрудники НИИ, ни дня не работавшие в школе или вузе...

Такой кадровый дебилизм при Сталине был недопустим.

Автор романа обосновывает достаточно убедительно, что Сталин был человеком идеи, бессеребренником, идеалистом... Канул в мир иной, оставив после себя могучую державу с мощной индустрией, армией, флотом, с обществом трудящихся, а не на их горбу плодящихся... И это так.

Хотя такая историческая личность всегда окутана пеленой тайны. Не все однозначно было в Иосифе Джугашвили.

Версия событий и личности, представленная А. А. Яшиным, захватывает читателя с первых страниц романа, выглядит очень убедительно. Сталин предстает и с человеческой стороны, и как мудрый стратег, и, конечно, как истинный революционер, для которого борьба за построение социально справедливого общества на земле важнее всего остального.

Прочтешь несомненно художественно удачную книгу А. А. Яшина «Катехизис

* Яшин А. А. Катехизис идеалиста: Роман-размышление.— М.: «Московский Парнас», 2010.— 373 с. (Библиотека журнала «Приокские зори»).

идеалиста» и ощутишь, как же нам сегодня не хватает людей идеи! Тех, для кого власть — не способ пришивания новых карманов на свою одежду для заполнения их украденными у страны денежными купюрами, не способ халявного наглого построения дворцов на Рублевке, приобретения недвижимости за границей, скандально роскошных яхт, а способ самореализации своих совестных качеств, работы на благо страны, народа...

Как не хочется верить, что земля русская не обеднела такими людьми — идеалистами, такими вождями нации!

История все расставит на свои места. И в конце концов каждый народ имеет такого правителя, которого заслуживает.

В Алексея Афанасьевича Яшина хочется искренне поздравить с большой творческой удачей — романом «Катехизис идеалиста».



Ирина Николаева

(г. Москва)

ПРОЧТИ И УДИВИСЬ ДУШЕВНОМУ БОГАТСТВУ*

Небольшая книжечка стихов Ирины Пархоменко привлекает строго-витиеватым оформлением. Простые черные буквы уложены в название. Птица с распахнутыми крыльями настраивает на лирический лад.

Стихи по форме незатейливые, однако, наполнены глубоким и разнообразным содержанием.

Автор объясняет название сборника строками о встречном ветре:

*...Ведь свободу и точность в полете
Не попутный, а встречный дает.*

Бьется в стихах тонкая и ранимая душа, похожая на свечу, колеблемую ветром, на «сад, цветущий на рассвете». В любви, и в полете, в одиночестве и в заботе о людях трудится душа, не ведая усталости. В ней живет память о родителях, «желаний куча», стихи, которые «не требуют награды». В ней «взлетают звуки к небесам» и звучит музыка.

Ирина Пархоменко — женщина, как и любая из нас, жаждущая любви. Для нее избранником может стать Орфей, но тот, который любимой верит, или Приам, который слушает Кассандру.

Полновесно омытая женской сущностью, она может по-бабьи взволноваться, поскольку ею «Пушкин не бредил, / Не любил Пастернак. Не влюблялись живые / Ни Есенин, ни Фет». Ее чувствами управляет страстное желание встретить того, кто способен ради нее научиться летать.

В ней ярким огнем горит страстное желание известности. Да и кто из поэтов этого не желает? Кто из нас не убеждает себя: «Поэтом важно быть, а не казаться»? Ирина Пархоменко убеждает читателей в преимуществах нестоличной жизни:

*...В провинции покой и красота,
И каждый точно знает свое место...*

И читатель согласится, поскольку есть Великий порядок жизни, и все для чего-нибудь предназначено. Исходя из этой мысли, возникшей у меня под впечатлением чтения стихов И. Пархоменко, взглянем на ее творчество как на творчество поэта, которому жизнь в провинции дала прочность взгляда, целеустремленность и силу, не допустила до легковесности и мельтешения.

*Из живоносных малых родников
Берут начало все большие реки.
Из малых сел и малых городов
России мощь слагается навеки.*

* Ирина Пархоменко. Ветер в крылья. (Библиотека журнала «Приокские зори» и альманаха «Кристалл»).— Щекино, 2010.

В творческом стиле И. Пархоменко преимущество отдается сонетам. Вот, например, «Сонет воды»:

*Была чиста осенняя вода,
Звенели паутинки на ветру,
И падала ненужная листва
На высохшую серую траву...*

Грусть звенит в этих строчках, возникает образ осени, в которой напоследок, перед холодами, образовалось множество паутинок, но уже уходит из жизни листва, недавно золотистая, а теперь превратившаяся в серую траву. И осень, и вода, и грусть воспринимаются через уход любви, когда «разрушен в сердце храм».

«Сонет очищения» наполнен такой же грустью, и не такой. Здесь ощущается надежда:

*Проблем ненужных груз в ладью сваю,
Поставлю парус из надежд лянлых,
И — в дальний путь!
А мне — встречать зарю
И попытаться все начать с начала.*

Венок сонетов «Август» философичен. Звучат и грусть по ушедшему, и стойкость к настоящему, и вера в будущее. Как ни сложно почувствовать в этих стихах веру, она — есть! Замечательны основные строки, дающие нить венку. Среди этих строк:

*Июль последние перевернул страницы...
И длинным дням уже выходит срок...
Стремительно скользит с ветвей листвок...
Пьянит звенящий терпкий звездный сок...
Прекрасный август вышел за порог...*

Вполне объяснимо обращение автора к картине И. Левитана «Сокольники. Прогулка». В венке сонетов под названием «Картина» удивительно сплетаются краски и мазки, музыка, танец и поэтика, движение тела и порыв мысли, любовь, безнадежность и одиночество, освобождение от которого приобретает лишь в творчестве.

*Набросит вечер голубую дымку,
И дрогнет кисть, как пламени язык.
Скользну перед тобою невидимкой,
Но ты и ветра видеть след привык:
Мазок, другой, проявлен тонкий стан —
«Сокольники. Прогулка». Левитан.*

Стихи, заполнившие новый сборник Ирины Пархоменко, доказывают поэтическую одержимость автора, у которого любое дело и любая мысль выражаются особой строкой, имеющей ритм, рифму и размер. Что можно пожелать поэту? Новых стихов! И новых поэтических сборников!

